

ческое высокое целое и силою страсти небывалой и праведностью нравственного устремления, и тончайшей восприимчивостью к художественной красоте.



В. В. РОЗАНОВ

Мимолетное. 1914 год

<Фрагменты>

<...>

17.VI.1914

Неужели эта тусклая и бессильная борьба с кабаком, как у Страхова, есть судьба и моя? ¹

Однако со времен «избиваемых библейских пророков» не было еще ни в одной стране и ни у какого народа такого ряда, как у нас, «избитых людей, любивших эту самую страну и народ». Ничто подобное не вообразимо ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии или Италии, ни в Голландии или Дании. Катков — его имя даже не упоминается нигде. Не то чтобы его опровергать, но «не стоит и вспомнить». Он до такой степени не есть «борец» и «сила», что его даже не толкают плечом. Просто «переезжают», как через труп, который никогда не был живым человеком. Что такое Ив. и Кон. Аксаковы? Забыты, — и я не помню случая, чтобы кто-нибудь вспомнил. Страхов, Ап. Григорьев. «Разве они были когда-нибудь?» Делаются все усилия «вынуть из забвения» Конст. Леонтьева: но как они трудны...

Что же это такое? «Никто же *плоть свою возненавиде*, но всякий питает и греет ю (ее)»... И Христос, значит, не предвидел, и вся натура ошиблась. «Пришли русские и показали себя».

С чего же, с кого началось это избивание? Действительно, это чохоточный умирающий Белинский взял в горсть отхарканный плевок крови — и бросил его в Россию. И крови этой ничем не смыть, и она размазалась по всей России, и с этого именно времени русские ненавидят Россию.

Если «в микроскоп рассматривать», то кровь-то эта была из него выдавлена 1) Некрасовым, 2) Краевским, 3) Герценом, 4) Огаревым, 5) Бакуниным. Первые два «жали», последние три «прошли мимо». Перенеси с одра болезни, с одра нищеты и болезни, Белинского — и мы услышали бы не те песни. «Последнего фазиса Белинского» бы не было, а в *нем*-то и дело. Пять названных лиц, может быть, во всем имели неуспех или полууспех. Но Белинский этой «горстью крови в лицо России» им дал всем победу. Что такое Герцен без Белинского? По «запрещенности» его ведь никто не читал (до «освобождения»). Он был *nomen magnum et ignotum* *. Чернышевский и Добролюбов, лишь сея на почве, заготовленной Белинским, получили всходы и жатву. «Современник» после «Отечественных записок», после «Современника» второй фазис «Отеч. записок» (Щедрин и Михайловский), в промежутках «Русское слово» и «Дело» — вот триумфальные ворота, через которые прошли наши победители.

Воистину, наши победители. Победа была «над Россией». Во имя социал-демократии, сперва Фурье, Сен-Симона, идей Прудона; а затем — Лассаля, а теперь — Маркса. Но во всяком случае победы «над Россией», ибо — во имя «не России». Тут может быть что угодно, но «русского — ничего». Я говорю о победителях. «Русского ничего» — это победило «все русское».

В том и дело, что «харкая кровью». А «харкая кровью» — это христианское начало. «Он был пригвожден и пронзен». С тех пор, *т. е. в нашей христианской Европе*, ничто не имеет силы противиться тому, что «харкает кровью». В Риме (*Roma aeterna*) это не получило бы никакого значения, не привлекло бы ничьего внимания. «Мало ли было распятых рабов», по всем дорогам и Африки, и Азии римского «*orbis terrarum*» **. Но после Него всякий «изъязвленный раб» побеждает.

Это великая загадка. Великая смута для ума и сердца судить. «Под дверь моего дома, взламывая эту дверь, — просунут в крови нож разбойника, чтобы меня и семью мою зарезать». И, смотря на нож, — я готов бы и мог бы сломать его; но как он «в крови» и «несчастный» — то я парализован и не могу встать с места.

Суть-то в том, что вместе с «добрым разбойником» прокрался в Царство Небесное и злой разбойник. И вот он в нем не только сел, но и хозяйничает. И попросил «Господа Бога — убираться». А когда все удивились и готовы были закричать, он взял горсть своей кро-

* Великим именем, но неведомым (*лат.*).

** Земного круга (*лат.*).

ви, — действительно своей, пролитой в разных делишках, — и показал святым. И «святые» замолчали.

— Он пролил *кровь свою*. Ничего не можем сказать.

Вот суть положения.

И злая кровь уже одолевает добрую кровь.

Разве тихо не источались кровью и Страхов, и Ап. Григорьев, и Арс. А. Голенищев-Кутузов, и Аксаковы? Не упоминаю забытых Каткова и Данилевского. «За кровь Белинского заплачено кровью». Не действует. Образ первого, «умирающего в чахотке», — закрыл ряд других больных постелей.

И вытягивается, и выпячивается этот ряд больных постелей. И проходит холодная страна — мимо их.

Холодная Русь! Холодная Русь. Безжалостная Русь.

«Кто тебя раскрестил, Русь некрещеная?»

Батыева палка да Белинского чахотка.

У, циник...

Ну, торжествуй...

<...>

23.VIII.1914

Белинского я ничего не читал с гимназических пор... Не манило, не возбуждало, не обещало. Я помнил с гимназичества его слог, скоропалительный, героический, штурмующий: и «человек такого слога» не обещал мне что-нибудь сказать, как штурмующий солдат или офицер «не станет же рассказывать о родителях», не «запоет песенки», не «вспомнит о Боге» (т. е. мне не надо)...

Но эти выдержки у Грифцова² (из 4-х томной корреспонденции) впервые мне открывают Белинского *in se*, не *in imagine**. Ничего подобного я не ожидал, не думал. Это вовсе — не Белинский, а Чернышевский, и даже Благосветлов в «Деле» и вся их «мудрая компания», «такая образованная». Чернышевский, значит, и прочие «шестидесятники» решительно ничего нового не принесли, не высали ни одной мысли из собственного пальца, и *нигилизм происходит вовсе не из эпохи реформ* Александра II, «Современника» и проч., а *нигилизм рожден знаменитыми сороковыми годами*, классической порой Николая I.

Все важное — оттуда, из этого действительно «замечательного десятилетия» (заглавие статьи Анненкова в «Вестн. Евр.», несколько лет назад)³.

* В себе, не в воображении (*лат.*).

Но и не этим кончается новость: если мы будем читать частную переписку г-жи Мойер, Протасовой, Жуковского (изд. Грузинского), письма — Пушкина и проч., и проч., и проч., если мы скрупулезно переберем всю литературу *до этого* и после этого *вне нигилизма*, то ничего подобного ни у кого не найдем, и значит, «Белинский без предков родился в нашу литературу» и имел только обильнейшее потомство...

Да, обильное, — как ни у кого.

Я не умею выразить своей мысли. Белинский был новым духом, новым «гением» (*genius* в римском смысле), он породил из себя новую категорию души человеческой, именно *площадной души*, — душа-то ведь вообще нежная и интимная, — в которой ничего «домашнего» не осталось, ничего «семейного», затворенного, «неведомого — нерассказанного» с впервые пришедшим на землю окаянством слова, окаянством отношения к вещам, окаянством отношения к людям и лицам...

Ничего подобного не думал. Белинский? Мечта нашей молодости? «Благородный дух, ведущий всех к благородному».

Так, значит, Некрасов (прижим Белинского) — «вор у вора дубинку украл». Ибо почему же тогда нельзя и «прижимать человека»: ведь в словах Белинского слышится именно «прижимание», он у всех окружающих «выжимает масло» (грубая гимназическая игра).

Площадная душа: что может быть ужаснее? Так вот *откуда* («по тоную») произошли и Герберт Спенсер, и Бокль, и Ог. Конт (Милль — совсем другая категория). Вот откуда, — все из «40-х годов», когда вдруг родился в мире какой-то холуй и сказал: «Дайте же и мне место в мире»... Родился, быстро вырос и всем завладел. «Кукушкино яйцо» в гнезде малиновки.

О, какая проклятая эта кукушка: откуда она прилетела? Никто не видел. Никто ее не знает. Мы знаем только «кукушкино яйцо» и что потом «из своего гнездышка» стали падать и разбиваться о землю все малиновки.

Тон этой ругани, этих отзывов, я помню у Орлова (Нижегородская гимназия), поднявшего (идя сзади) 5 руб., выроненные Пахомовым. Тогда мы все гимназисты так испугались; я помню, *мы прижимались друг к другу* («защити! защити!»), не говоря о деле, но не в силах не «унижаться с товарищем», т. е. вынести одному. Пахомов, высокий прекрасный мальчик, «первый в математике» в классе, был бедняк, дававший уроки. Орлов был сын состоятельного протоиерея, ходил в франтовской (плисовой бархатной) курточке, читал не начитался «Дела» и говорил языком «Дела», т. е. «какие все люди мерзавцы» (обличительная литература). Зачем ему были 5 р.? Он был богат,

мог бы «попросить у папаши». Зачем он примером гимназического воровства мог смутить все наши души, так ужасно испугать и так ужасно измучить. Но *тон его разговоров, слог его разговоров* были точь-в-точь Белинский в письмах, тогда (1875–6 гг.) не изданных. Да ведь и *слова Белинского — положительно поступок*.

Разве не поступок? Нет, поступок. Это дело его, не «бумага и чернила», а кусочек души.

Площадь! площадь! площадной дух! На площади все открыто, видят друг друга, ругаются, кричат. Никакого «шепота»: а ведь это «русская литература от Белинского до Иванова-Разумника». Они все — не понимают, толкаются, грубят, «ужасно сильны» и «вполне счастливы». Вполне ухарь.

Но ухарь 1-й оказывается Белинский.

«На нем сапоги смазные. Шапочка с пером. Плеть. Топают. И на всех кричит».

У, нахал! Уйди, нахал! ...

(зовут к обеду)

23.VIII.1914

Белинский в письмах:

«Прочел “Московский сборник”, *луплю и наяриваю о нем*» (III, 137)... «Я с детства моего считал за приятнейшую жертву для Бога истины и разума — *плевать в рожу общественному мнению там, где оно глупо*» (III, 67)... «А ведь Аксаков-то, воля ваша, *если не дурак, то жалко ограниченный человек*» (III, 88)... «Лермонтов в образовании-то подальше Пушкина, и его не надует не только какой-нибудь *идиот, осел и глупец вроде Катенина, но и наш брат*» (! В. Р.) (III, 109). «Страшно подумать о Гоголе: невежество абсолютно! Что он наблевал о Париже-то» (II, 295)... «Хомяков — человек без царя в голове; если он к тому еще проповедует — он шут, паяц, кощунствующий над священнодействием религиозного обряда. Плюю в лицо всем Хомяковым и будь проклят, кто меня за это осудит» (II, 334)... «Трижды гнусный Погодин, вечно воняющий» (III, 286)... «Автор Ундины — девственник и потому в делах жизни он глуп, как сивый мерин, и в лице его есть оттенок идиотства» (II, 35)... «А черт ли в истине, если ее нельзя популяризовать и обнародовать» (III, 87)... «Метафизику — к черту: это слово означает сверхнатуральное, следовательно (! В. Р.) нелепость» (III, 175)... «Истину я взял себе (! В. Р.) и в словах “Бог” и “религия” вижу тьму, мрак, цепи и кнут» (III, 87)... «Когда читаю в газетах, что такой-то статский советник в преклонных годах отъезде к праотцам, — мне становится отрадно и весело. Всех стариков перевешал бы» (II, 115)...

«Шекспир, Вальтер Скотт, Купер, Пушкин, Гоголь» (II, 107)... «Гоголь велик, как Купер» (II, 130)... «Я и теперь не скажу, чтобы Гоголь был ниже Купера» (II, 137)... «В “Капитанской дочке” только местами пробивается художественный элемент, прочие повести его решительная беллетристика» (II, 108)...

Однако, это...⁴

23. VIII. 1914

Так, значит, это наблюдение Достоевского (в 26 лет!!): «Белинский есть самое смрадное явление русской жизни» (и далее с упреками адской самовлюбленности) — прозаическая правда?⁵

Мечты поэта
Сухой прозаик гонит вон...⁶

А ведь Белинским я (и все-такие же «мы») зачитывался в возрасте, когда самого имени Достоевского не знал. И вообще с Белинского мы «начинаем», Белинский есть «начало всего», — Белинского знают во множестве люди, не прочитавшие и нескольких страниц из Карамзина. И вообще Белинский есть «рабби Акиба»⁷, с которым не спорят, а благоговейно целуют в плащ.

«Все от него» на 70 лет...

Так вот как.

В письмах Достоевского, еще школьных почти, к брату Михаилу, до того поразительны по глубине и *культурности* суждения о Корнеле и вообще о так называемой ложно-классической французской трагедии, о Гомере, о Шекспире, что Достоевский действительно *именно в 26 лет* не мог не глядеть на 46-летнего Белинского именно так, как он выразил это (в старости) в письме к Страхову⁸. Достоевскому с его *врожденной зрелостью* (особая категория рождения, особая категория зачатия), почти с *врожденной светлой старостью* (на кончике всего, всех ужасов и смрадов, Достоевский был *светлый старик*, вроде номинального отца Подростка) — ему не мог не представляться знаменитый «критический авторитет» всего только развращенным мальчишкой, развращенным похвалами друзей (непостижимо!) и читаемостью всею Россией. «Мы нынче в успехе, а потому вали — валом»... Самое поразительное и действительно смрадно-тупое в том, что Белинский произносит все свои чудовищные суждения без всякого подозрения о том, что это мальчишество, без всякого подозрения, что это есть плоская глупость, в pendant* скончавшимся

* В дополнение (фр.).

геморроидальным старичкам, смерть которых он приветствует... Ему и в голову не приходит, что он ни на вершок не стоит умственно выше действительных статских советников николаевского времени и, обобщенно, «Коробочки, которая *ничего не понимает*»...

Что же тут молодость бросилась навстречу? А бросилась... Неужели вечный афоризм Мережковского: «Пошло то, что пошло»...

Да... Пошло то, что пошло...

Опять комар победил. Вечный победитель мира, комар и Оль-д'Ор. Но это уже началось с Белинского. И вечная дума Платона. «Есть, друзья мои, и *идея волоса*: волос так же вечен, неустраим, неразрушаем, как и Ангел Божий».

Волос... Что такое «волос»? Пал с головы. Никто не заметил. Но Бог ли жалостливый или «что-то такое в мире» подняло этот «волос» и наполнило им вселенную.

Эта печальная и страшная история случилась в нашей истории.
<...>

8.X.1914

Каким же образом это случилось, что «преемники Белинского» — и у банкира, и около «охранки»? Но прежде установим факт. Он несомненен. Ведь Бурцев не изловил ни одного славянофила, он ловил «среди своих». А «свои» все «прошли через Белинского». Т. е. «через Белинского» проходят и в охранку, и к банкиру, как в 1904–1905 году пошли в Японию⁹.

«Денежки с дырочкой все-таки денежки». Это и Мякотин и Пешехонов знают (не прямо, так косвенно).

Но оставим личное. Как случилось?

Прошли одни идеи, наступили другие идеи. Читались одни книги, стали читаться другие книги. Тогда был Сен-Симон, граф, мечтатель и француз; теперь — Маркс, бедняк и еврей. Впрочем, еврей из бедности всегда переходит в богатство, тогда как французские дворяне, естественно, «проживались».

Герцена Маркс печатно обвинял, что он есть тайный агент русского правительства за границей¹⁰. Странное подозрение, никогда не возникавшее о «своих» ни у бар, ни у славянофилов. Но с Марксом уже пришел идейный хам и смерд. Ученый, но хам. Разве ученому мешает что-нибудь быть хамом? Мешает — благородство. Но благородство «не доказано» у ученого. Это проблема и вопрос.

Мишель (Бакун.) дружил с Нечаевым, лгуном, убийцей и прочее¹¹. Друзья говорили: «Отвернись». Но он возражал: «Знаете, в революции нельзя без Нечаевых. Мы идеалисты, а он — *реалист*. Он делает, а у нас одни разговоры, споры и теории». Он предугадал:

«Иван Николаевич» был первым деловым лицом социал-революционной партии. Он убивал. Только убивал. Все убивал. Партия — в восхищении. Пока Бурцев не заподозрил, а потом и доказал, что он убивал и своих (Азеф). Его выдал неслыханный случай: директор Департамента Государственной полиции выдал революционерам главного своего агента, которого он имел против революции. Мне кажется, если «Иван Николаевич» оказался полицейским, то это уравнивается тем, что директор Д-та полиции оказывал тайные услуги революции¹².

Карты странно стали мешаться... Маски, все маски... Но меня не интересует революция, а интересует литература.

Белинский весь был забыт, не оценки же Пушкина и Лермонтова были кому-нибудь нужны, когда даже академик Пыпин считал Лермонтова юнкером, неучем и баричем. Всех, *всю* литературу заняло только то, что Белинский в последнем, «и следовательно, в самом зрелом», периоде деятельности заявил себя ярким социалистом.

«Он, — из которого родилась вся русская интеллигенция», — бездомная, бродячая и озлобленная.

«Кто-то должен же *делать*» — тема революции. Революция есть переворот. Она переворачивает: а этого без силы и без машин нельзя сделать.

«Я нужен»: аксиома Нечаева.

Хорошо. Но как же перешло к знакомству с полицией и с банкиром? Но ведь силу можно приложить только к силе; лом — к камню, динамит — к скале, рычаг — к тяжести, которую нужно поднять. Посему революция естественно начала тянуться вступить «в прикосновение по своему фронту» не с разговорными министерствами просвещения или юстиции, а с деловитым министерством внутренних дел. Это Белинскому и на ум не приходило. Но как только он заявил связь с социализмом, он вступил (в лице «сейчас же учеников») с полицией. Социализм есть полицейское явление, — невольно для себя полицейское, — ибо по «загрестности» полиции находится к ней в таком же отношении, как пьяный — к городскому, шулер — к городовому и вообще «талантливый человек» — тоже к городовому.

— Мы герои...

— За которыми мне велено присматривать.

Отношение враждебное. Но которое оканчивается знакомством. Совершенно неодолимым. Как не узнать друг друга? Революционер изучает полицию, строй ее, людей ее; а полиция старается разведать, из чего так стараются эти идеалисты. Потребность знакомства вызвала инстинкт сближения. Некоторые революционеры стали поступать в полицию; а некоторые полицейские стали смешиваться

с революционной толпой. «И не различишь, который теперь Нечаев и который Азеф». Обоим — друг Бакунин, а другом Бакунина и его выучеником был Белинский.

(в вагоне)

Но банкир? А, позвольте — лом стоит 6 рублей, а коробка динамита стоит 60 рублей. Революция вообще *очень дорого стоит*, потому что революционная армия кушает, одевается и квартирует. «Дарового постоя и революционеру не дают». За все это надо *заплатить*, — и кто же заплатит за бескорыстного «безработного», который, занимаясь революцией, естественно, ничем еще не занимается. У Лизогуба был миллион, и он «сплыл» в какие-нибудь три года¹³. Революция пока действует и насколько может действовать — вообще требует миллионного содержания. Где же их взять?

«В шапку» на митинге много-много накидают десять рублей: тут только «на селедку» нашим хватит.

Революция есть нищий: самую темою своею, самой бездомностью своею, самым бескорытием и идеалистичностью своей.

— Протягивай руку, раз ты такой идеалист.

Делать нечего. К тому же нужны миллионы.

Но где просящий — там и «дающий». И что же вы сделаете, если стали «давать» буржуи и в конце концов банкиры. Последние ведь приобретают колоссальные богатства на всяком испуге: они в это время «скупают бумаги», чтобы потом, когда испуг пройдет, продать их по повышенной цене. Незабываемое слово Пирожкова мне в 1905–1906 годах:

— Лионский кредит делает массовые покупки...¹⁴

— Закладные листы (т. е. земельных банков), — спросил я, понимая только в них.

— Нет, и акции, все... Ренту.

— Но ведь она так упала!!!

— *Потому*-то он и скупает.

На самом деле: скупленное в 1905 году и проданное в 1908 году увеличивало на 30% затраченный капитал. И если Лионский кредит скупил в испуганном Петербурге на сто миллионов, то через три года он тоже продал за 130 миллионов. Можно ли сомневаться, что он или еще какой другой еврейский банк бросит миллион на «одежку нуждающемуся», чтобы еще «разжечь» и тем паче «испугать».

Можно сегодня бросить миллион, чтобы через три года положить в карман 30 миллионов. Если же так поступят десять банков, они дадут десять миллионов. Революция — *щедро обеспечена*.

Неужели же перед этим поцеремонится Нечаев? Уверен совершенно, что не поцеремонится и Мякотин, уверенный, что «через год революция перевешает и банкиров».

Но «банкиры» гораздо точнее и математичнее рассчитывают, что как только они «съестное» отнимут, то правительство предварительно перевешает «этих голодных собак», которые таким образом до их банкирской шеи не дотянутся.

Вообще в мировой механике вовсе не требуется сочувствия и симпатии «для сотрудничества». Ветер помогает мельнику, не думая о нем, а мельник пользуется ветром, не соображая, «из каких пассатов он дует». Нужно починить колесо: и «каждый гвоздь пригодится».

Однако *главное* все-таки не в этом. Чувствуется, что из Аксаковых, из Киреевских, что идеалист-Федоров («Философия общего дела») никогда бы и никто не сблизился «в целях своей жизни» ни с охранкою, ни с банкиром. Более глубокая суть заключается не в мировом механизме, а в следующем:

Самый идеализм Белинского не был достаточно глубок и надежен. Вот священникам сельским запрещено было приблизительно в 1909 году вступать членами в сельские кооперативы, — и это уже ко вреду такого самонужнейшего дела, русского национального дела. «Понеже торг и экономика несовместимы с саном иерея».

Я сам против этого писал, и меня самого это возмущало. Это и действительно худо, т. е. вредно. Однако, с другой стороны, чрезвычайно характерно, что через 1900 лет, после того как «началась *их линия и преемство в истории*» (параллель «преемникам Белинского», просуществовавшим 50 лет), не было сочтено возможным никакое, даже полезнейшее для дела, соприкосновение их с земным экономическим строем.

Через 1900 лет: — когда бы идеи могли очень и очень «оттениться» и заехать в «чужие соседние колеи»... мало ли бывает «нужд», мало ли бывает «перемен»...

Но Церковь через 1900 лет не переменяла своего «хочу» и «запрещаю»... Из этого, сравнив 50 лет и 1900 лет, мы можем понять, до какой степени зерно, заложенное в церкви, было могущественнее, здоровее, свежее, чище, белее, — нежели «зерно Белинского»... Которое поистине, при этом сравнении долготы времен, есть «тлен и прах»... Между тем вообще-то ведь это «зерно нашей интеллигенции»...

В чем же, конкретнее, дело?

Идеализм Белинского был «взят из рук»... Это был вообще *не его, Белинского, идеализм*... Он даже *не родил его, не изобрел его, не сотворил его*... Он был не мыслитель, а публицист; и не поэт, а критик.

Таким образом, даже в сфере литературы, в сфере бумаги и чернил, он не принадлежал к сильной категории, а был *посредствующим, служебным*. И, м. б., судьба нашей интеллигенции не была бы уж так плачевна, родись она из великой поэзии, а не только из замечательной критики. — «Все судим чужие книжки»: какое же тут зерно движения? — «Судите, господа, пока книжки не обмелеют». Писала Юлия Жадовская, потом — Марко Вовчек, а наконец — Вербицкая: критика «хочешь-не-хочешь» все — «отзывается». Критики сперва писали большие статьи, «О гоголевском периоде литературы», — а когда книжки пообмелели — стали писать «Кроки», «Арабески», «Заметки» и «Так себе». «Был Белинский», а через 50 лет — «довольно и Оль-д'Ора». Оль-д'Ор ведь тоже вышел из Белинского, хотя, кажется, и «не доставляет сведений». Но, во всяком случае, он презирает Россию, считает ее отсталую, кричит о недостатке ему свободы, — и вообще ни на одну пядь не выходит из схем Белинского. Оль-д'Ор вполне «по Белинскому», и это кладет какую-то скорбную тень на Белинского, которого сейчас мне почти жалко...

Грустная роль... Грустная и по существу, и по короткости. Но *где же* узел дела, что в конце концов Оль-д'Ор смешался с Белинским? Белинский принадлежал к бумажной категории людей, да и в ней-то он стоял не на высшей точке (поэт или мыслитель). Между тем в значительность славянофилов или даже вообще «бар» входит то, что 1) «барство» включает в свое понятие *благородство*, а 2) славянофильство включает в свое понятие *служение земле своей*...

Во всем разница! Это вовсе не «бумажное дело» и не «стишки-с».

— 1) заветы благородства, 2) заветы службы земле родной. Едва я назвал и написал, как даже противники воскликнут: — «Ба! Видим провал Белинского». Он действительно «провалился» со своей критикой, потому что она не содержит ни принципа, ни идеи. Славянофильство литературно было вовсе не сильно, но через слабую свою литературу, т. е. очень несовершенно, дурно пиша, они связались с действительностью благородными и великими... не идеями, а фактами...

«Земля наша» — это уже *факт!* Факт 1000-летней давности.

Факт необозримого разнообразия: тут и кооперация, артель, община, земледелие, Министерство Государственных имуществ. Песня, былины, частушки. Рыбные промыслы, «господин купец».

«Господин купец» для литератора, естественно, смешон, для славянофила он серьезен. Славянофил не будет ему смеяться в бороду и не будет с заднего крыльца у него попрошайничать. Может выйти серьезное дело, — и как всякое серьезное дело — оно может вылиться в прогресс. Между тем что же может «выйти» у Белинского с купцом

или у Оль-д'Ора с купцом? Белинский фыркнет на него, а Оль-д'Ор попросится к нему «на содержание». В обоих случаях ничего не выйдет. В обоих — *разруха и нигилизм*.

«Традиции Белинского» и вылились в разруху и нигилизм. Чего она ни касалась, она ко всему подошла с *неуважением*, — с этим хохотом, с этою позою *довольства только собою*, которая была уже вечною позою самого Белинского. Ничего, что он часто бывает «недоволен сам собою, и якобы «разочаровывался». Это он груши ел после яблоков и после груш ел варенье. Сущность-то в том, что он в каждое «сейчас» был восхищен собою, и притом — только собою, больше всего — собою. Он никогда не посмотрел на Кремль глазом Погодина, никогда не подумал о наших Царях умом Карамзина; и если так восхищался Фенимором Купером — то ведь и в Купере самое важное было то, что он «так нравится Белинскому». Не воображайте, не пафос «Бедных людей» увлек его; но что «Бедные люди» ответили его демократической в то время струнке. В противоположность благородному и глубокомысленному Достоевскому, который от «Бедных людей» пошел к религии, Белинский в плоском уме своем сообразил только, что от «Бедных людей» можно пройти к революции. Дело было не так сухо, как я говорю, но оно *приблизительно* было так сухо. Бедность есть страшная вещь. После болезни оно, может быть, есть самая страшная вещь. Но у одного народа оно родит «Книгу Иова» и сказание «о Лазаре и Богатом», а в лакейской комнате и у лакеев она родит: «Са іга» (кажется, революционная песенка).

Подойдет ли он к Государству — оно смешно ему. Подойдет ли он к русской истории — она смешна ему. «На Западе кой-что выбирает»: но в конце концов и Запад все-таки смешон ему. — «Что же тебе не смешно, великий человек?» Оглядывается на себя, думает. Думают и Белинский, и Чернышевский:

«Мы *сами!!!* Действительно, никогда-то, никогда Чернышевскому и Белинскому не показались смешными «сами»... Вот этого ни *на одну минуту* ни у кого «в традиции» от Белинского до Скабичевского не было...

— Белинский, ты хорош?

Молчит.

— Белинский, а Россия хороша?

— Окаянная.

Это противопоставление *себя лично, своей личности* — целой России, всем ее законам, всему ее порядку, всему быту, с мыслью необыкновенного превосходства СЕБЯ над РОССИЕЮ) есть та мысль, без которой не начинался вообще ни один журнал этой славной «традиции» и не начинал своей литературной деятельности ни один

из «столпов»... Им случалось бывать и шулерами, и обирать имущество у ближнего, а уж эксплуатация чужого труда была у них сплошь, — и лгали они, и клеветали: и при всем ни на минуту не сомневались, что стоят выше России и всей судьбы ее, прошедшей и будущей. Больше: каждого и не приняли бы в «эти журналы», приди он скромно и с мыслью: «Россия больше меня и старше меня»... Самое «приятие» было основано на том, если приходящий тоном речей, тоном поступков, позою и видом говорил: «Вы — великие люди, и я тоже великий человек: будем работать вместе и заодно».

И вот они все выражали свою замечательную «индивидуальность», удивительную особенность которой составляло то, что ее вовсе не было. Они все были «без себя». И опять же положено этому было начало в том, что все изошло не из поэзии и мысли, а из критики, т. е. из обзора чужих книжек. Высокомерие над Россией не допускало их читать русских книжек, и они никогда не читали князя Одоевского, Баратынского, Тютчева, позволяя себе «для очищения совести» просматривать Пушкина и Лермонтова. Из русских лишь читали только «себя» и «своих», т. е. Михайловский читал Кривенку, а Кривенко читал Михайловского, и, конечно, оба читали Миртова-Лаврова (Добчинский, «везде бегавший и о всем суетившийся», определяет его Никитенко в «Дневнике») и Глеба Успенского. Но тем усерднее они читали иностранцев, — Ляйэля «Древность человеческого рода», Бокля — «История цивилизации в Англии», Дрэпера — «История умственного развития Европы», Лекки, Фохта и прочее. Да, больше всего — Дарвина. И все сделались быстро «дарвинистами», контристами, «позитивистами», «социалистами», «марксистами».

Все это — от метода критики, от «нет своего вдохновения». «Наш пирог неуклюжий, да зато сдобный. Всего положено: с этого края — осетрина, с того — грибы, здесь — рис с яйцами, а там — каша». Все это еще от Белинского, который всю жизнь ел чужую кашу и благодарил более образованных людей.

Поразительно вообще *шла традиция*, «ни на йоту в сторону» от заданного урока. Вот, говорят, история неустойчива. Нет, до отворачивания устойчива. Как Белинский был вечным учеником, так *все после него* восприняли ученическое ко всему отношение, ученическую несамостоятельность, ученическую переимчивость, ученическое отношение к миру, людям, авторитетам. Как для него авторитеты были непрекаемы, и он никуда не мог отойти в сторону от Гегеля, Фенимора Купера и Сен-Симона и Пьера Леру, так все Шелгуновы и Скабичевские не могли съехать с «гвоздя» — Дарвин, Спенсер и Бокль. Как он «горячо» писал, так они «горячо» писали. Ладно или неладно, а — горячо, умно или неразумно, — а горячо. «Без горячего»

нет радикализма. Что же еще? Он был беден и демократ, и они были бедны и демократы. Решительно — Иловайский. Решительно — семилетняя война, тридцатилетняя война, Великая северная война на 20 лет, война «за австрийское наследство», «война за испанское наследство». Нет, история отвратительно однообразна.

Возвращаюсь, однако, к исходу. К этому жалкому компилятивному исходу. Суть критики, по крайней мере русской, — «обзор чужих книг», и на 50 лет в нашей литературе стал доминировать необыкновенный отдел — «обзор чужих книг», где, во всяком случае, не было вдохновения, а было только «горячо». Ну, — и ругательно: ведь все они «великие люди», и чем сильнее кто изругает другого, тем «более великий человек». Тема традиции, пошедшая от «великого Белинского». На 50 лет водрузился пошлый стон и вой, где никакой мысли разобрать было невозможно, кроме, что все они «великие люди», а кругом — «мелочь». Это — до Вержболова. За Вержболовым начинаются Альпы. Прямо Пелион лезет на Оссу, а Осса еще выше Пелиона. Можно бы сразить радетелей вопросом:

— Кто выше? Бокль или Дарвин?

Вопрос прямо *убил бы их*. Они бы загрузили. Загрузили впервые. Кто выше? Как решить? Поставить Дарвина — обидеть Бокля. Поставить Бокля — обидеть Дарвина. Удивительно, как никому не пришло на ум начать кампанию — «Бокль все-таки выше Дарвина». С уважением к обоим. Все втянулись бы в спор: и он так грустен и удушающ, что все муравьи в этой банке подошли бы. Прямо из-за спора начались самоубийства в радикальном лагере.

«Очень мы их обоих обожаем. А тут — разделение и *выбор*».

Но отношение к России? Она забыта. Попробуйте взять «за март», «за апрель» все книжки радикальных журналов: и вы не отыщете ни одной статьи *на русскую тему*... «на русскую тему», если и попадется изредка статья, но в духе — «Не надо» — Чего не надо? — «Ничего не надо. Ради Бога ничего до Вержболова». Все *темы* не русские: — о дарвинизме, о марксизме, о саксонских углекопах, о железной промышленности в Силезии и «опять о милитаризме». О России — ничего (кроме «не надо»). Что же это такое?

Да это все компиляция и бездарность Белинского и все Иловайский (устойчивость исторических традиций). Если Писарев острил, что вся история «состоит в том, как Иван пошел на Петра и победил Петра, но Петр потом соединился с Семеном и оба они побили Ивана», то ведь и их собственная «история» заключается в том, как «Добролюбов соединился с Белинским и оба они победили Гегеля и Каткова», а потом пришел Аксаков, но «не мог победить Добролюбова». «Везде мы побеждаем»: тон от Белинского до кончины Михайловского. «И — победили».

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но зато родному краю
Верно буду я известен¹⁵.

«Родным краем» здесь называлась не земля Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина, не земля Аксаковых и Погодиных, — но...

«Наш Басков переулочек, где стоит “Русское богатство”¹⁶. — И вся Россия, мало-помалу обращающаяся в читателей “Русского богатства” и выкидывающая из себя пустяковых и никому не нужных Карамзина, Державина, Аксаковых и Хомяковых».

Все-таки — Я.

И единственное — МЫ.

<...>



Г. И. ЧУЛКОВ

Последнее слово Достоевского о Белинском

Литературные имена и духовные силы Достоевского и Белинского так несоизмеримы, что, сопоставляя их, приходится объяснять, почему собственно понадобилось обсуждать именно эту тему. В самом деле, стоит ли заниматься ею, особенно теперь, когда гений Достоевского занял подобающее ему место в культуре всемирной? Этот на первый взгляд весьма основательный вопрос падает, однако, если мы припомним, что сам Достоевский придавал Белинскому значение немалое. Очевидно, что в этом человеке было нечто, занимавшее мысль и воображение художника.

Мнения Достоевского о Белинском противоречивы и как будто пристрастны, но то постоянно, с каким Достоевский возвращается в течение всей своей жизни к личности Белинского, воистину удивительно.

Юношеские письма Достоевского к брату пестрят именем Белинского, и впоследствии мы везде и всюду находим у него упоминания о человеке, его поразившем.